Галина Комарова

«Профессия антрополога необыкновенно расширяет кругозор»[1]

Предлагаемое вниманию читателей бинарное интервью подготовлено в рамках проекта «Женский портрет в научном интерьере», который осуществляется путем интервьюирования женщин-антропологов из разных стран мира [Комарова 2007а; 2007б; 2011а; 2011б]. Это представительницы самых различных академических направлений, школ, взглядов, научных сообществ и поколений, известные своими исследованиями советского и постсоветского пространства. Участницы данного интервью — известные антропологи с мировым именем Наталия Жуковская (Россия) и Кэролайн Хамфри (Великобритания).

Кэролайн Хамфри (Caroline Humphrey) — почетный профессор антропологии Кембриджского университета (Великобритания), много лет возглавляла кафедру монгольских и центральноазиатских исследований, автор многих десятков книг и статей по социальной и культурной антропологии. Она имеет богатый опыт полевой работы в советской и постсоветской России, Украине, Монголии, Китае, Индии, Непале. Кэролайн Хамфри изучает широкий спектр научных проблем региональной

Галина Александровна Комарова
Институт этнологии
и антропологии РАН,
Москва
galakom@mail.ru

[1] Работа выполнена в рамках проекта РГНФ 13-01-00043а. Оба интервью получены на русском языке в письменной форме. Тексты минимально отредактированы и согласованы с информантами.

Наталия Жуковская и Кэролайн Хамфри. Москва, 23 апреля 2013 г.

экономики и общества: шаманизм бурят и дауров, торговлю и бартер в Непале, окружающую среду и кочевую экономику в Монголии и др.

Наталия Львовна Жуковская — доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра азиатских и тихоокеанских исследований ИЭА РАН. Круг ее научных интересов составляют история культуры монголоязычных народов Евразии, эволюция религиозной традиции у народов Центральной Азии (ранние верования, шаманизм, буддизм), история науки. Она автор многочисленных научных трудов, опубликованных на русском, английском, немецком, французском, польском, венгерском, сербском, словацком, монгольском, китайском, японском, корейском языках.

У Н.Л. Жуковской много учеников из Бурятии, Тувы, Калмыкии, Алтая, Якутии, Монголии. Из них девятнадцать защитили кандидатские диссертации, а четверо — докторские. Не случайно в отечественном этнографическом / этнологическом сообществе ей «присвоено» почетное звание «Бабушка бурятской этнографии» и «Мать калмыцких этнографов». Начиная с 1957 г. Н.Л. Жуковская участвовала более чем в 50 этнографических экспедициях в Бурятии, Калмыкии, Монголии, Туве, Республике Марий Эл, Краснодарском крае, Киргизии, Казах-

стане. В 1969–1990 гг. она провела 20 полевых сезонов в Монголии в качестве начальника этнографического отряда Комплексной советско-монгольской историко-культурной экспедиции; с 1991 г. ежегодно работает в Бурятии.

Научные интересы Наталии Жуковской и Кэролайн Хамфри во многом совпадают, а экспедиционные маршруты постоянно пересекаются. Их важнейшим исследовательским полем служит Россия. Они крупнейшие в своей области знаний специалисты, имеющие огромный опыт полевой работы и разработки серьезных исследовательских проектов. Но не только эти обстоятельства объединяют двух известных «этнографинь». В следующем году исполнится пятьдесят лет их знакомства, положившего начало разнообразным научным, творческим связям и крепкой дружбе, — юбилей, достойный Книги рекордов Гиннеса!

Я уверена, что интервью двух ярких представительниц мирового антропологического сообщества вызовет интерес наших коллег. Их знания, опыт, размышления позволят лучше понять проблемы современной науки и «человека науки», внесут свою лепту в развитие такого нового для отечественной науки направления, как антропология академической жизни, и послужат стимулом для возобновления интеллектуальных дискуссий, которые в начале 1990-х гг. активно велись на страницах «Этнографического обозрения» под рубрикой «Размышления о судьбах науки».

Галина Комарова

Галина Комарова (далее — ***Г.К.***): *Каким был Ваш путь в науку?*

Наталия Жуковская (далее — **Н.Ж.**): Мой путь в науку, а затем и в самой науке не был каким-то особенным или тернистым. Еще в школе, в 5-м или 6-м классе, я увлеклась историей — но не как наукой (об этом школа представления не давала), а как интересным школьным предметом. Углублению этого интереса содействовала моя бабушка Людмила Васильевна Жуковская. До революции 1917 г. она окончила Бестужевские курсы, дававшие приличное гуманитарное образование, и мой интерес к истории ее очень радовал. После окончания Отечественной войны, когда бабушка, дедушка, мама, ее сестра и я вернулись из эвакуации, бабушка стала работать библиотекарем в Московском металлургическом техникуме. В этой библиотеке почему-то оказалось много исторических романов, бабушка приносила их домой, а я взахлеб читала. Чтение это не проходило даром, и на уроках истории в школе кое-что из прочитанного я «вплетала» в свои ответы на задаваемые учительницей

вопросы. И она, и мои одноклассники меня с удовольствием слушали. А когда в школу приходили комиссии по проверке знаний учащихся, на уроках истории вызывали только меня, демонстрируя как образцово-показательную ученицу. Кажется, я ни разу не подвела нашего педагога, тем более что, как это часто бывало в школе в наше время, я была в нее по-ученически влюблена.

Куда мне поступать после окончания школы и какую выбрать профессию, ни у меня, ни у членов моей семьи сомнений не было — конечно, на исторический факультет Московского государственного университета. Сначала мне хотелось стать археологом: шикарные открытия, сделанные археологами в разных концах света (гробница Тутанхамона, столица государства майя, золото скифских курганов), были широко известны и будоражили воображение. Но уже на 1-м курсе нам начали читать спецкурс «Основы этнографии», и вскоре я поняла: вот оно, то самое, что мне нужно, хочу этим заниматься, хочу это изучать. Ну а далее пошло-поехало...

Лекции по общей этнографии, а затем и по истории религий народов мира нам читал Сергей Александрович Токарев. Какой удивительный мир открывался на этих лекциях! Довольно быстро у меня возник интерес к буддизму и к народам, исповедующим его. И как оказалось в дальнейшем, этот интерес сохранился на всю жизнь.

Кэролайн Хамфри (далее — **К.Х.**): Изначально я хотела быть писателем, а не антропологом, поэтому так случилось, что в Россию меня привел не научный интерес. Прежде всего меня увлекли русская музыка, литература и живопись.

Кэролайн Хамфри. 1967 г.

Помню, когда я училась в старших классах школы в Эдинбурге, я была на концерте Мстислава Ростроповича. Это был один из его первых концертов на Западе. В тот раз он исполнял Брамса, его сонату для виолончели и фортепиано. Это было настолько потрясающе, что я помню до сих пор. Ростропович стал просто моим героем, я повесила программку его концерта на стену в своем классе. На программке была фотография самого Ростроповича, такое размытое изображение лысеющего мужчины в очках с виолончелью. Только сейчас я начинаю понимать, насколько странно это могло выглядеть со стороны в то время, когда мои сверстники фанатели от «Битлов».

Позже я окончила университет в Кембридже по специальности социальная антропология, но даже тогда у меня не было серьезных планов, связанных с антропологией. Я поступила в аспирантуру и больше думала о том, что во время полевых исследований у меня будет больше возможности учить русский язык и видеть, как живут другие люди. Это было время «железного занавеса». Мы знали очень мало о том, что творится там, по другую сторону «занавеса». В то время Советский Союз у меня вызывал огромный интерес и был местом загадочным: там происходил гигантский общественный эксперимент и жили многие народы, о жизни которых мы так мало знали.

Г.К. *Какие жизненные (научные) пути привели Вас в поле? Кто или что повлияло на выбор тематики Ваших исследований? Как Вы впервые попали в экспедиционное поле?*

Н.Ж. Выбор профессии этнографа автоматически означал, что поле станет ее частью. Просто это одна из привилегий и почетных (впрочем, кое-кто считает, что обременительных) обязанностей и составных частей принадлежности к клану профессиональных этнографов. Мое первое поле состоялось после 1-го курса, и было оно отнюдь не этнографическим, а археологическим. Преподаватель кафедры археологии МГУ Леонид Романович Кызласов отбирал студентов с нашего курса в Тувинскую археологическую экспедицию. Несколько будущих археологов (Вадим Егоров, Тамара Барцева) согласились туда отправиться, к ним примкнула и я. Этнографическая практика после 1-го курса не планировалась, так что проблем не было, и мы поехали. Для нас троих это была первая в жизни экспедиция, первый археологический практикум. Итогом ее стало то, что нас заворожила красота тувинской природы, да и все то, что прилагалось к слову «экспедиция». А еще мы были ровесниками, экспедиция сдружила нас, и мы до сих пор сохраняем дружеские отношения.

После окончания 2-го курса я поехала в первую этнографическую экспедицию — в нынешнюю Республику Марий Эл,

а тогда Марийскую АССР. Руководила ею Клавдия Ивановна Козлова, преподаватель кафедры этнографии МГУ. Состав был чисто женский — студентки разных курсов, и это был первый опыт изучения «трех китов» этнографической науки: пищи, одежды и жилища — на примере луговых марийцев.

И только после 3-го курса я двинулась в поле по избранной мною специализации — в Республику Бурятия (тогда Бурятскую АССР), где впервые столкнулась с культурой монгольского мира. С буддизмом и шаманизмом, которые интересовали меня более всего, дела тогда обстояли плачевно. Религиозная культура была в основном раздавлена советским атеизмом, а та ее часть, которая уцелела и находилась в подполье, мне, молодой и неопытной еще студентке, была малодоступна. Исследования в Бурятии я проводила в составе фольклорной экспедиции Бурятского комплексного научно-исследовательского института, и моими первыми советчиками и наставниками в ставшем для меня родным на многие десятилетия бурятском поле были Лазарь Ефимович Элиасов, Ксения Максимовна Герасимова, Иосиф Зеликович Ярневский. Мир их праху! Никого из них уже нет в живых.

В 1969 г. началась многолетняя, сформировавшая меня и как исследователя, и как полевика Комплексная советско-монгольская историко-культурная экспедиция, этнографический отряд которой я возглавляла в течение 20 лет. Это был фантастический опыт полевой работы, очень много давший мне и моим коллегам — монгольским этнографам. После ее окончания, весьма болезненного (Монголия, начавшая вслед за Россией перестройку у себя в стране, первым делом избавилась от всех российских экспедиций, кроме геологической), я возобновила свои исследования в Бурятии. На сегодняшний день у меня за плечами 52 полевых сезона.

Г.К. *Кого Вы считаете своими учителями в антропологии?*

Н.Ж. Учителем я считаю только одного человека — Сергея Александровича Токарева, о котором уже писала выше. Его лекции в университетские годы предопределили мой интерес к религиоведческой и центральноазиатской тематике. Он был руководителем моей дипломной работы. Когда я стала сотрудником Института этнографии АН СССР, Сергей Александрович продолжал курировать мои научные интересы и планы, следил за моим продвижением в науке. Он же был моим оппонентом на защите кандидатской диссертации и редактором моей первой книги.

С.А. Токарев любил собирать у себя дома научную молодежь, как правило, своих учеников — студентов и выпускников

кафедры этнографии. Иногда к ним присоединялись маститые ученые мужи, прославленные в какой-либо отрасли гуманитарного знания. Таких друзей у С.А. Токарева было немало. Тогда встреча превращалась в настоящие научные «посиделки», откуда все расходились обогащенные новыми идеями, которые многим что-либо открывали в дальнейшем.

«Коллективным» учителем я считаю тот научный коллектив, в котором я оказалась в Институте этнографии. Это прежде всего отдел зарубежной Азии, Австралии и Океании, сотрудником которого я стала — сначала научно-техническим, потом младшим научным, потом старшим научным, а с 1996 г. я возглавляю этот отдел (с 2005 г. — Центр азиатских и тихоокеанских исследований). И хотя многих, с кем я начинала работу в отделе, уже нет, он сохранил это важное качество — быть коллективным учителем. Именно коллективным. А Сергей Александрович Токарев был единственным.

К.Х. Моими преподавателями на младших курсах университета были Мейер Фортес, Эдмунд Лич и Стэнли Тамбиа. На факультете были две большие группы: одна из них африканисты, которые в основном изучали разные системы родства и социальной организации, другая — те, кто изучал азиатские культуры. Они-то как раз и были более открыты для разнообразных тем: экономика, экология, религия, ритуалы, мифология, социальные изменения, теория принятия решений, фракционизм и т.д. Эту группу возглавлял Эдмунд Лич, который в своих работах мастерски сочетал эмпирицизм и теорию структурализма Леви-Строса. Подобного рода антропология более всего увлекала меня. Мейер Фортес, хотя и был африканистом, стал моим научным руководителем. И он запретил мне ехать в Советский Союз. Фортес сказал, что там просто невозможно проводить полевые исследования. Он привел в пример нашего коллегу, которого как раз недавно выпроводили из Союза через три недели после приезда, предъявив ему обвинения в шпионаже. Мне было предложено поменять тему и поехать в Польшу изучать крестьянские хозяйства. Но примерно в то же время Фортес должен был уехать на год в Америку в качестве приглашенного профессора. И я, будучи своенравной и упрямой, все равно продолжала лелеять надежду отправиться в Советский Союз: я пошла на курсы русского языка и решила изучать якутов. Мне стало интересно, как они, будучи когда-то кочевниками и номадами Центральной Азии, стали вести такой же образ жизни в других условиях — условиях полярного климата. Я буквально «пропахала» весь том Серошевского по этнографии якутов, выискивая каждое второе или третье слово в словаре. В конце года я подала заявку в Британский Совет, чтобы участвовать в программе студенческого обмена с Московским

университетом. Когда меня включили в список, Фортес все еще был в Америке, и никто на факультете не мог мне запретить ехать в Россию.

Когда я приехала в Москву, моим наставником стал Сергей Александрович Токарев. Он был очень добр ко мне, и своей деликатной манерой обращения больше напоминал дореволюционного интеллигента. Я получила очень многое от посещения его лекций. В Кембридже мы изучали своих классиков — Малиновского, Эванс-Притчарда и др. — и то, как они исследовали разные сообщества и группы. В Москве я попала в другую научную традицию, где больше обращали внимание на политический (колониальный) контекст этих исследований и марксистскую теорию изучения общества.

В качестве «прикрепленной аспирантки» мне нужно было так сформулировать тему исследования, чтобы она оказалась вписана в план работы кафедры этнографии. Коллеги отговаривали меня заниматься якутами, объясняли, что это очень трудно: далеко добираться, суровый климат, холода и т.д. И мне предложили заниматься русскими сельскими хозяйствами. Мне совсем не хотелось браться за эту скучную (как мне тогда казалось) тему, но, посоветовавшись с Сергеем Александровичем, я решила, что буду исследовать бурятов. Это оказался очень удачный и даже счастливый для меня выбор. Мне повезло, что этой же темой занималась Наталья Жуковская. Она помогла мне на самом начальном этапе и с тех пор стала моим большим другом и советчиком.

Г.К. *Фредерика де Лагуна, выдающаяся представительница американской антропологии, бывшая в 1966–1967 гг. президентом ААА, считала, что «антропология отличается от других научных дисциплин. Это образ жизни». Подтверждается ли это наблюдение в Вашем случае или на примере Ваших коллег?*

Н.Ж. Эта фраза Фредерики де Лагуна создает некий романтизированный образ нашей науки. Наверное, влюбленные в свою работу люди иных профессий, живущие ею не только в рабочее, но и все остальное время, могли бы сказать про свою науку то же самое. Например, геологи, географы, археологи, да, наверное, и многие другие. Я бы дала такое толкование этой фразе. Антрополог смотрит на окружающий мир особым взглядом. Он видит в поведении, обыденных поступках людей, манере одеваться, есть, говорить, петь, танцевать и т.д. определенную закономерность, в которой за каждым человеком или явлением стоит многослойный культурный подтекст, — антрополог это понимает или инстинктивно ощущает и находится в этом состоянии постоянно. В этом смысле это образ жизни, потому что отключить себя от такого видения невозможно.

Н.Л. Жуковская в Монголии: «Экспедиция, которая будет длиться 20 лет, только начинается. Все радует. И встреча с каменной бабой тоже». 1971 г.

К.Х. Антропология представляется мне и предметом исследования, и, как нас учили в Кембридже, образом жизни. Это происходит потому, что методы изучения подразумевают длительное «погружение» непосредственно в культуру, которую изучаешь.

Г.К. *В 1920–1930-е гг. советские этнографы после окончания университета уезжали в изучаемую группу на «этнографический стационар» и годами занимались там не столько исследованием*

Научные «посиделки» у камина: Н.Л. Жуковская и С.А. Арутюнов на даче у академика Т.И. Алексеевой. Подмосковье, поселок Ново-Дарьино, 2001 г.

культуры, сколько практической работой, оказывая разнообразную помощь местному населению. В результате многие уходили из профессионального поля, переставали быть этнографами. Известны ли Вам такие случаи в истории антропологии?

Н.Ж. Такие случаи мне известны лишь понаслышке.

К.Х. Я знаю много случаев из жизни антропологов, когда они изо всех сил старались улучшить жизненные условия тех людей, которых изучали. В некоторых случаях они переставали заниматься научной работой. Но существует множество специальностей, имеющих практическую направленность, ориентированных на улучшение политического климата, условий жизни и т.д. Иные исследователи вынуждены были прекратить научную работу из-за того, что на всех выпускников и аспирантов, закончивших западные университеты, просто не хватает преподавательских ставок.

Г.К. *Традиция длительного этнографического стационара, которой всегда славилась наша отечественная этнографическая наука, в последние десятилетия оказалась прерванной по целому ряду причин. Ныне ведется дискуссия о необходимости ее восстановления. Одни считают, что длительная (от 6 месяцев до 2-х лет) полевая работа (в том числе и «в качестве сельского учителя в среде изучаемого народа») не только полезна, но и необходима. Другие утверждают, что в современных условиях непрерывное (более 2–3-х месяцев) пребывание в поле «непродуктивно по чисто профессиональным причинам»* [Басилов 1992: 14–15]. *Каково Ваше мнение на этот счет? Является ли длительный этнографический стационар обязательным элементом профессионализации и творческой деятельности исследователя?*

Кэролайн Хамфри в монгольской экспедиции. Монголия, 1972 г.

Н.Ж. Всему свое время. Во времена Н.Н. Миклухо-Маклая, когда шло становление этнографии / антропологии как науки, это было нормой. В наше динамическое время это возможно лишь в очень редких случаях. Я имею в виду Россию, хотя, насколько мне известно, в американской антропологии это практикуется и сейчас. В России же это трудноосуществимо. Не только по финансовым причинам, хотя и они очень важны, но и по ряду других обстоятельств, например семейных. Если у человека есть семья и, соответственно, определенные обязательства перед ней, то вряд ли стоит отсутствовать годами — семьи можно лишиться. Такие случаи мне известны.

Лично мне кажется, что в нынешние времена лучше хотя бы ненадолго, но часто приезжать к изучаемому народу, причем в разное время года. Правда, и это сейчас становится все затруднительнее. Кроме того, с появлением таких источников, как разнообразные СМИ и особенно Интернет, возможности антропологии сильно расширились и само понятие «поле» в нашей дисциплине кардинально изменилось. Теперь пребывания в этнографическом поле в традиционном понимании этих слов уже недостаточно, ибо никак нельзя ограничиться изучением какого-то народа или его отдельного сегмента в изоляции от событий, происходящих в районе, регионе, стране, а порою и в мире в целом. В этом и есть преимущество социальной антропологии — науки о человеке вообще в любом историческом и культурном контексте — перед милой, доброй старой этнографией. Но в этом и ее минус — в ней стало слишком много общего и уменьшилось количество конкретного.

К.Х. Вопрос целесообразности продолжительных полевых исследований напрямую зависит от предмета и темы исследования. В Кембридже были случаи, когда аспиранты защищались и получали научную степень за работы теоретической направленности, когда не было необходимости ехать в поле или это не занимало много времени. Но если тема исследования подразумевает изучение этнографических аспектов, связанных с нынешней ситуацией и живой культурой, то длительное пребывание в поле, от одного до двух лет (как минимум), и знание языка, на котором разговаривают люди в исследуемом сообществе, — одни из обязательных требований для всех антропологов. И мой собственный опыт тому подтверждение. При всем моем желании пробыть в Бурятии продолжительный срок, это было невозможно в 1960–1970-е гг. Однако в более поздний период мне все же удалось прожить в Монголии более двух лет.

Очень многое зависит от базовых знаний и представлений о ситуации в стране, в которой оказался исследователь. В моем случае, поскольку я была молода и мало что знала о советской

жизни вообще, все время, проведенное в СССР, хотя его большая часть прошла в Москве, можно считать периодом «полевых исследований». Как преподаватель я сталкиваюсь с тем, что все большее количество студентов-антропологов хотят изучать свой народ: например латышский студент готовится изучать Латвию, студент из Монголии хочет изучать только Монголию и т.д. Я пыталась отговаривать их от подобного решения, особенно если речь шла о предстоящем первом опыте полевой работы. Изучать собственный народ всегда труднее: люди не будут разговаривать с тобой о вещах, которые, по их мнению, ты должен уже знать, об очевидном и понятном. Есть риск «просмотреть» какие-то существенные вопросы, потому что на свой народ труднее смотреть со стороны, чужими глазами. Тем не менее у многих студентов такое желание очень сильно, и возможны хорошие результаты.

Г.К. *Изучали ли Вы в студенческие годы методику полевых исследований?*

Н.Ж. Да, конечно. Такой предмет преподавался на кафедре этнографии МГУ. Однако он касался в основном методики изучения материальной культуры, тех самых «трех китов» традиционной этнографии: пищи, одежды, жилища. Он не учил и не мог научить главному — умению находить общий язык с информаторами, заставить человека, который по тем или иным причинам не желает с тобой разговаривать (мало ли что бывает — твоя прическа или одежда ему не понравились, или то, что ты живешь в Москве, или вообще у него сегодня плохое настроение), вдруг откликнуться и начать отвечать на твои вопросы. Я считаю это особым талантом, которым должен обладать этнограф, желательно от рождения, а если таланта нет, его надо в себе развить. Мне встречались такие люди, некоторые работали со мной в экспедициях. Надо было видеть, какими влюбленными глазами смотрели на них несговорчивые поначалу информаторы и какие этнографические «тайны» из глубин их души умели извлекать эти порой довольно молодые исследователи.

К.Х. Сейчас в моем университете у студентов-антропологов есть несколько подобных курсов и семинаров. В мое время, когда я была студенткой, методика полевых исследований не была отдельным лекционным предметом, это было включено в общий курс преподавания антропологии.

Г.К. *Российский / советский этнограф, подолгу работавший в одном и том же этнографическом поле, обычно становился другом изучаемой общины: учил, лечил, решал социальные проблем, оказывал гостеприимство и самую разнообразную помощь своим респондентам. Но это, как правило, не рефлексировалось самим*

исследователем как исследовательская работа. Продолжаете ли Вы общение с Вашими информаторами «во внерабочее время», вернувшись из поля? Известно ли Вам о существовании подобной практики среди других исследователей? И можно ли рассматривать ее как продолжение этнографического поля?

Н.Ж. С некоторыми информаторами такие отношения сложились. Иногда это была сразу возникшая взаимная симпатия и интерес друг к другу. Как правило, это чувство возникало тогда, когда я общалась не с отдельным человеком, а с целой семьей. Естественно, меня больше интересовало старшее поколение, с представителями которого завязывалась переписка, часто сопровождавшаяся разного рода взаимными просьбами. С некоторыми такие отношения продолжались десятилетиями. Меня ставили в известность о важных событиях в семье — свадьбах, рождении детей, внуков. Постепенно старшее поколение уходило в мир иной, но сохранялись контакты с их детьми, которые часто оказывались моими ровесниками, и у нас было много общих интересов и сходных оценок разных жизненных ситуаций. Эти отношения продолжаются до сих пор. Так вошли в мою жизнь три семьи из Бурятии. Одна семья научных работников, тоже антропологов — ученых и информаторов одновременно. Две другие семьи, бурятская и русская, — сельские учителя в нескольких поколениях. Раньше мы писали друг другу письма на бумаге, теперь общаемся через Интернет. Судя по рассказам коллег по институту, такие контакты сложились не только у меня. И конечно, в каком-то плане это продолжение этнографического поля.

Приобщение к национальной кухне изучаемого народа — высший смак в работе этнографа. Н.Л. Жуковская и Д.Б. Дашиев (Улан-Удэ, ИМБТ) на одном из самых сложных участков этнографической работы. Бурятия, 1995 г.

К.Х. Да, я поддерживаю тесные отношения со многими людьми, с которыми познакомилась во время полевой работы, будь то в Бурятии, Монголии, Внутренней Монголии, Индии или Непале. Эти отношения переросли в личную дружбу, и, как мне видится, они не являются продолжением «полевых исследований». Но даже если мы давно знакомы, я, тем не менее, многому учусь у этих людей, и нередко мы разговариваем на интересующие меня антропологические темы. Иногда мои друзья приезжали в Кембридж учиться или заниматься наукой, и тогда, естественно, мы разговаривали и об их работе тоже.

Г.К. *За всю историю науки лишь немногим антропологам удалось достичь полного погружения в изучаемую группу. Даже легендарный Н.Н. Миклухо-Маклай, имя которого носит наш институт, так и остался для папуасов Новой Гвинеи «Человеком с Луны» и «чужаком». Как Вы думаете, что необходимо для того, чтобы стать «своим» для изучаемой группы? И еще вопрос на эту же тему. Оппозиция «свой / чужой» обычно определяет на начальном этапе стержень взаимоотношений группы и ее исследователя — представителя иной культуры. Как происходило изменение образа «чужого» на разных стадиях общения? Удалось ли Вам наблюдать какой-либо процесс формирования самоидентификации членов группы через общение с Вами? Ведь «чужой» в процессе самоидентификации необязательно всегда бывает негативным или враждебным. При условии, если этот «чужой» переосмыслен как мифический, он может воплощать «идеальное я». Или же, как еще один полюс идентичности, он может быть нейтральным: «иной», «другой» и т.д.*

Н.Ж. Все эти вопросы действительно похожи: они о том, как из «чужого» стать «своим» в изучаемой среде. Прежде всего не надо особенно стараться это делать. Надо вести себя естественно и постепенно, если не получается сразу, стремиться завоевать доверие исследуемой группы (семьи, индивида). Как правило, исследователь им тоже интересен. Это я неоднократно отмечала на изучаемых мною территориях монгольского мира, где объектами моих исследований были монголы, буряты, калмыки. В сельских кочевых худонах Монголии я, во-первых, была интересна их жителям как женщина, приехавшая из другой далекой страны. Во-вторых, они хотели понять, что же такого имеется в их культуре, что ее едут изучать столь издалека. Часто они воспринимали (а иногда и сейчас воспринимают) свою культуру как нечто естественное и не видели в ней ничего особенного, достойного внимания научной экспедиции. Поэтому первый акт контакта — это рассказ исследователя о том, кто он, зачем приехал, что особенного имеется в данной культуре и чем она значима для человечества в целом. Это очень важно для поднятия самоуважения информатора и пробужде-

III Конгресс этнологов и антропологов России. На банкетах всегда веселее, чем в зале заседаний. Слева направо: академик Т.И. Алексеева, та, что весело хохочет, — Н.Л. Жуковская, тот, кто ее рассмешил, — американский антрополог Харли Балзер. Уфа, 1997 г.

ния его интереса к последующим вопросам ученого. Мой опыт полевой работы это многократно подтверждает. После этого в большинстве случаев все складывается хорошо. Контакт установлен, информатор и ученый становятся взаимно интересными друг другу. Мысль стать «своей» у меня никогда не возникала. И я не уверена, что это так уж полезно для дела.

К.Х. Действительно, многие антропологи, которые прожили многие месяцы или годы в тесном общении в небольшом сообществе, становятся своего рода членами этого сообщества или семьи. Но я не уверена, что возможно стать вполне «своим человеком», особенно если ты родом из другой страны или принадлежишь совершенно другой культуре. Ты изучаешь этих людей, ты приезжаешь и... потом уезжаешь. В конце концов, опыт жизни в поле отличается от образа жизни тех людей, которые живут там постоянно. Я не берусь говорить об опыте других антропологов, но сама я могу быть лишь отдаленным «наполовину своим», стараясь в меру своих сил и положения быть полезной — монголам, русским или бурятам.

Г.К. *Вопрос, связанный во многом с предыдущими, звучит так: как Вы полагаете, какое влияние Вы (Ваше пребывание и работа) оказали на членов изучаемой группы?*

Н.Ж. С гордостью могу сказать, что несколько молодых людей из тех семей, с которыми меня свела полевая работа, выбрали профессию под влиянием знакомства со мной и моими исследованиями в их регионе, хотя какого-то специального давления я не оказывала и даже, насколько мне помнится, совета

становиться этнографами им не давала. Речь идет о двух бурятских женщинах (одной уже нет в живых), с которыми я познакомилась, когда они обе были еще ученицами старших классов. Узнав, чем я занимаюсь, они предложили свою помощь, которую я с благодарностью приняла, тем более что они хорошо знали людей в селах, где я работала, т.к. жили в них с самого рождения. Обе девушки по окончании школы поступили в Бурятский государственный университет (БГУ). Одна из них стала со временем директором Аршанского гуманитарно-экологического лицея. Его ученики слушали лекции по этнографии Центральной Азии, которые читали специально приглашенные профессора БГУ и ученые из Института монголоведения, буддологии и тибетологии (ИМБТ), а ряд выпускников поступили в этнографические / антропологические аспирантуры (кое у кого из них я была научным руководителем). Вторая, внучка известного в своем районе шамана, окончив БГУ, поступила в аспирантуру в Улан-Удэ. Руководство ИМБТ, зная о моем давнем знакомстве с нею и интересе к шаманской тематике, предложило мне стать ее научным руководителем. Моя аспирантка защитила диссертацию по шаманским традициям своей малой родины и сейчас уже третий год ведет исследования в Японии.

К.Х. Я бы не стала утверждать, что лично я и мой опыт работы каким-то образом повлияли на жизнь тех, кого я изучала в Бурятии. Просто надеюсь, что мои приезды в 1960–1970-е гг. не причинили им вреда или беспокойства и что, может быть, им было интересно, что я пишу о них.

Г.К. *Как жизнь и работа в поле повлияли на Вас как на личность и антрополога?*

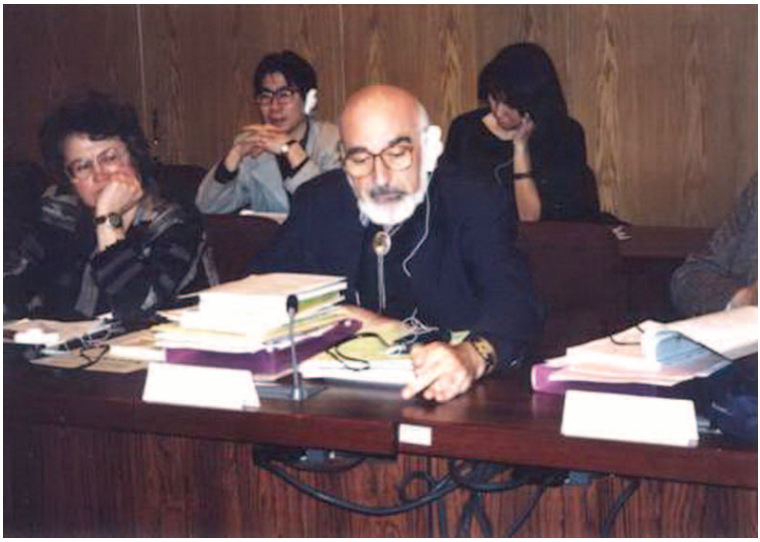
Н.Ж. Профессия всегда, я думаю, влияет на человека. Если он любит свою работу, то в лучшую сторону. Если не любит, то мне его жаль. Занятие нелюбимым делом — не из приятных. Профессия антрополога хороша тем, что необыкновенно расширяет кругозор и позволяет более глубоко взглянуть на многие, казалось бы, привычные и обыденные вещи. И еще довольно приятно / полезно / любопытно осознавать себя частицей огромного этнически пестрого человечества. А вообще такой вопрос — тема мемуарного жанра. К нему я еще не готова.

К.Х. Прежде всего после моей этнографической работы в России я убедилась, что не стоит становиться писателем и создавать художественную прозу, когда вокруг реальная жизнь — удивительная, захватывающая дух и воображение, абсолютно непостижимая. И самое главное — я узнала про иные, новые для меня человеческие отношения, которые отличаются от тех,

которые я видела в Англии. Например, будучи в России, я открыла для себя понятие «пространство», когда люди общаются в публичном пространстве как обычные советские граждане. Когда я вернулась в Англию, я была просто поражена тем, что вдруг по-новому увидела то, чего не замечала раньше в своей стране, — меня со всех сторон окружали стены, заборы, изгороди, территории частной собственности (здания, магазины, транспорт). И эта структура пространства влияет на взаимоотношения людей.

Г.К. [Вопрос к Н.Ж.] *Наталия Львовна, российские этнографы старшего поколения до сих пор вспоминают, какой переполох в начале 1970-х гг. произвела поездка английского антрополога Кэролайн Хамфри в бурятский колхоз. При этом никто не сомневался, что за ней тогда был установлен негласный надзор. А как Вас принимали местные власти: оказывали сопротивление или помогали в работе? Каково отношение российских чиновников к Вашей работе в современной России?*

Н.Ж. Отношение к местным и неместным властям у меня всегда было негативное, а у них ко мне — настороженное. В молодые (т.е. советские) годы я своим интересом к религиозной (шаманской, буддийской) тематике могла вызвать только глухое раздражение властей, которые всюду отчитывались, что ничего такого у них давно нет, хотя потихоньку со свойственным властям двуличием во «все такое» верили сами. Так что помощи от них ждать не приходилось. Да и какую помощь они



Н.Л. Жуковская и чл.-корр. РАН С.А. Арутюнов на международной конференции «Этнические меньшинства Востока и Северо-Востока Азии». Осака, 1999 г.

могли оказать? Если мне требовался транспорт, я выходила на трассу, голосовала, и всегда находился какой-нибудь водитель, который довозил меня до нужного места. Устроиться на ночлег и даже на несколько дней у кого-то пожить тоже не составляло проблемы. Тогда народ был доверчивее и добрее, чем сейчас. И никто не требовал никаких «верительных грамот», хотя официальная бумага от института с просьбой оказать содействие обычно выдавалась в придачу к командировочному удостоверению. Что касается нужных для темы исследования информаторов, то и тут власти, как правило, старались увести в сторону, подсовывая старейших партийных работников, бывших партизан и участников Гражданской войны, а не тех, кто действительно был знатоком местной культурной традиции. Найти последних помогали школьные учителя. Так что с представителями советской власти на местах все ясно.

Другое дело — Монголия. Отряд международной экспедиции, въехавший в небольшой монгольский сомон на своей машине, со своим имуществом, в составе которого имелось несколько российских и монгольских ученых, мгновенно становился объектом внимания со стороны всех жителей и, конечно, местного начальства. Так что визит местной власти мы наносили в первую очередь. Такие «представления» начальникам я тоже не любила, и обычно их брал на себя соруководитель нашего отряда с монгольской стороны. Он оповещал местную власть, что это за экспедиция, чем намерена заниматься, какие памятники собирается осмотреть, просил имена соответствующих информаторов. Однако это было для проформы, т.к. и здесь такой список включал чаще всего имена надежных работников партаппарата, как правило, присланных откуда-то в этот сомон и потому местную культурную среду совсем не знающих. Бывали, конечно, исключения, но редко.

Местные российские чиновники постперестроечного времени тоже не подарок. По-прежнему боятся открыть рот и дать нужную информацию, например о том, сколько фермеров появилось в таком-то селе после того, как там развалился колхоз. Отвечают, что эти данные составляют тайну. Слава Богу, что этой «тайной» владеют все жители соответствующего села и с радостью ее открывают. Не люблю я власть! И ничего не могу с собой поделать.

Что касается истории с Кэролайн Хамфри, то, наверное, я лучше других знаю то, что тогда происходило. Мы познакомились в 1964 г., когда она впервые приехала в СССР в качестве стажера на кафедру этнографии МГУ. Ее руководителем, как и моим в студенческие годы, стал С.А. Токарев. Поскольку она решила заняться социальной структурой бурятского общества, а я уже

несколько лет к тому времени занималась этнографией бурят, Сергей Александрович попросил меня помочь Кэролайн «войти в тему». По мере возможности я это и делала, предоставив ей собранную мною библиографию и кое-какие книги из домашней библиотеки, которая к тому времени уже начинала создаваться. Времена были докомпьютерные, поэтому такого рода помощь здорово сэкономила ей время вхождения в антропологическое бурятское пространство. Однако все это происходило в Москве, а Кэролайн рвалась в Бурятию. Ей нужно было конкретное «живое» поле. Ее первая стажировка в СССР длилась десять месяцев. Проходили месяц за месяцем, а наши власти — центральные и местные — никак не могли согласовать вопрос о ее поездке в Бурятию. Всех обстоятельств этого согласования, препятствий, которые искусственно изобретались, я за давностью лет уже не помню, а про многое, наверное, и не знала. Но наконец свершилось! Разрешение получено, и Кэролайн отправилась в Бурятию.

Я очень хотела поехать с ней, но возникли ведомственные преграды. Я работала в академическом учреждении — Институте этнографии АН СССР, Кэролайн ехала в командировку от Московского университета. И это препятствие преодолеть не удалось. Она уехала из Москвы одна. Принимал ее Бурятский комплексный научно-исследовательский институт. Когда наконец Кэролайн оказалась в поле, ее сопровождала одна из самых высокообразованных дам этого института К.М. Герасимова — востоковед, монголовед, буддолог. По себе знаю, сколь много интересного можно было от нее узнать в такой поездке, и общение с нею явно было весьма полезным для Кэролайн. Однако вследствие какого-то незначительного недоразумения, воспринятого по дурости местных властей как свидетельство шпионажа, К.М. Герасимову отозвали назад в город, едва не исключили из КПСС за допущенный промах, а к Кэролайн приставили «подающего надежды» молодого партаппаратчика из обкома партии, который промахов уже не допускал и, наверное, немало крови попортил К. Хамфри. Несколько месяцев спустя, когда Кэролайн вернулась в Англию, я приехала в экспедицию в Бурятию и, уж не помню при каких обстоятельствах, познакомилась с тем молодым партаппаратчиком. Он с упоением рассказывал, как ездил с Кэролайн, как он был бдителен, потому что, конечно же, она была шпионкой. На мои вопросы, на каком основании он это говорит, какие у него есть хотя бы минимальные доказательства, он отвечал, что никаких доказательств он привести не может, но кем иным она может быть как не шпионкой, ибо какой же нормальный иностранец поедет изучать бурятский колхоз — только шпион!

Наша российская шпиономания — это трагедия страны, погубившая миллионы безвинных жизней. Я полагала, что это наследие сталинских времен, но знающие люди, которым я задала вопрос об истоках этого явления в России, отослали меня к временам Николая I. Вот такая у нас история!

Сейчас Кэролайн Хамфри — антрополог с мировым именем, долгое время возглавлявшая кафедру монгольских и центральноазиатских исследований Кембриджского университета, автор многих десятков книг и статей по самому широкому спектру проблем социальной и культурной антропологии. А тогда, в 1960-е гг., это была милая молодая англичанка, говорившая по-русски с очаровательным акцентом, делавшая первые шаги на научном поприще и получавшая первый опыт полевой работы на одной из восточных окраин нашей страны. Хорошо, что вся эта отечественная шпионодурь никак не отразилась на ее научной биографии и не помешала ей стать тем, кем она стала.

Г.К. [Вопрос к К.Х.] *Кэролайн, как Вас принимали местные власти в 1960-е гг. во время Вашей поездка в бурятский колхоз: оказывали сопротивление или помогали в работе? Каково отношение российских чиновников к Вашей работе в современной России?*

К.Х. Все британские студенты принимали как должное ситуацию, что за ними устанавливался негласный надзор с первого дня пребывания в России. КГБ даже устраивало провокации против некоторых из моих коллег, и они были вынуждены покинуть Россию. До сих пор не понимаю почему (возможно, из-за доброго отношения ко мне Сергея Александровича), но мне

Бурятия, 1967 г. Кэролайн Хамфри с руководителями колхоза им. Карла Маркса

повезло больше, чем другим. И все-таки однажды, будучи в одном из колхозов в Селенгинском районе Бурятии, я сфотографировала что-то такое на ферме, что местное начальство не хотело показывать миру. Однако меня не наказали. Просто среди ночи ко мне вдруг нагрянули двое «в штатском», представившиеся «журналистами газеты», якобы брать у меня интервью. И это «интервью» длилось много часов... Похоже, что больше всего проблем было у моего куратора от местного института Ксении Максимовны Герасимовой, которой пришлось давать объяснения, почему эта «взбалмошная» англичанка оказалась в какой-то момент вне ее поля зрения. Что касается местных чиновников, то начальство в двух колхозах, да и в самом Улан-Удэ оказало мне тогда неоценимую помощь.

Мне трудно что-либо сказать об отношении ко мне и к моей работе современных российских чиновников. Сейчас нет единой партийной установки, и я допускаю, что российское чиновничество отличается от чиновников советских времен. Но в те времена я была молодой студенткой, идеалисткой, а с тех пор я многое повидала.

Г.К. *Каждый опытный полевик знает, что этнографический стационар не имеет ничего общего с этнографическим туризмом. Полевая работа, особенно одиночные выезды, во многих регионах мира, в том числе и в России, таит в себе не только много интересного, но помимо бытовых неудобств и много опасного. Например, если изучаемая группа ведет полукочевой образ жизни в тайге, тундре, пустыне, проживает в районе межнациональных конфликтов или в зоне повышенной радиации. Какие проблемы и трудности встретили Вы в своей полевой работе? Как Вы их преодолевали?*

Н.Ж. Особая сложность в работе с кочевниками состоит в том, что, приехав к месту предполагаемого исследования, ты рискуешь никого там не застать, т.к. все укочевали на новое место стоянки. В горной местности она может оказаться довольно высоко в горах: приходится ехать и искать нужные семьи и людей там, а они часто рассеяны по разным горным долинам — на это уходит много времени. Но такова специфика работы среди кочевников, о чем исследователь, как правило, знает.

Бывало, что попадаешь на саму кочевку, и тогда включаешься в ее быт от начала до конца — но это скорее интереснейшая работа, чем трудность: помогаешь разбирать юрту, паковать вещи, а на новом месте все делаешь в обратном порядке, в том числе ставишь юрту. И видишь весь процесс кочевки от начала до конца.

А вот сложности природного порядка не раз доставляли много хлопот: сход селевого потока, степной пожар, сильный снего-

пад среди лета, песчаная буря в Гоби, табун диких лошадей, пронесшийся через палаточный лагерь, наводнение — полный комплект экспедиционных удовольствий, с которыми сражаешься один на один без всяких МЧС.

К.Х. Были опасные моменты в Непале, но не в Бурятии. Как трудный момент могу вспомнить мое внезапное недомогание, которое просто свалило меня с ног, когда я вела полевые исследования в колхозе. Возможно, из-за стресса, перенапряжения, из-за того что мне хотелось использовать каждую минуту, час, работать днем и ночью, поскольку у меня было мало времени. В первом колхозе из-за укусов клопов у меня началась аллергия и опухла рука. Зато я побывала в местной больнице и с интересом узнала, что это такое. В другом колхозе по какой-то причине у меня стали выпадать волосы, а я стеснялась показать это и носила платок, как все местные женщины. Наступил момент, когда это стало невозможно скрывать, и я кому-то пожаловалась. Вслед за этим случилось почти самое невероятное из того, что происходило в моей жизни: прилетел маленький самолет и приземлился на поле, из него выскочила доктор, вся в белом, она несла какую-то емкость, в которой было нечто, приготовленное лично для меня. Это была какая-то лечебная смесь, которой обмазали мою голову, и спустя несколько дней мои волосы были в порядке. Конечно, я понимала, что самолет вряд ли послали бы, чтобы лечить простого колхозника в такой же ситуации, но в тот момент советская медицина произвела на меня впечатление.

Кэролайн Хамфри в экспедиции. Монголия, 1972 г.

Г.К. *А какие интересные случаи, занимательные истории из Вашей экспедиционной жизни Вы могли бы вспомнить?*

Н.Ж. Этот вопрос любят задавать журналисты, и из любого ответа умудряются сочинить смесь клюквы с клубничкой. Поэтому я такие вопросы не люблю. Несколько интересных эпизодов из моей экспедиционной жизни я собрала в свое время в одну статью «Этнограф и поле. Господин Случай и его возможности» и опубликовала ее в сборнике «Антропология академической жизни: междисциплинарные исследования» (Вып. 2. М., 2010; отв. ред. Г.А. Комарова). Описанные там случаи являются ключевыми для моей экспедиционной практики: один из них — это мой самый крупный провал как полевика, второй — самый выдающийся взлет, своего рода «звездный час», и еще ряд других. Повторять их здесь мне не хочется, так что отсылаю желающих к этой публикации.

К.Х. Самое яркое воспоминание у меня осталось от моего первого интервью, которое мне нужно было взять, когда я только начала работать в Бурятии. Представьте себе, я провела месяцы в Ленинке, читая литературу про бурят: их мифологию, историю, системы родства, традиции, религиозные ритуалы, земельные отношения и т.д. Но сейчас я сидела в деревенском доме в бурятской семье в окружении семи человек плюс Ксения Максимовна. И все смотрели на меня. С чего начать? Я была просто в панике. О чем спрашивать? Я вспомнила университетский лекционный курс, на котором нас учили «генеалогическому методу» по У.Х. Риверсу. Стало ясно, что я должна начать свои расспросы с самого старшего члена семьи — седобородого дедушки, который терпеливо ждал, когда же я заведу разговор. Я спросила: «Кто ваш первопредок?» — «Так, — отвечал он со всей серьезностью, — мы ведем свой род от быка, Буха Нойона, у него было два сына...» Это очень обрадовало меня, и мне сразу стало легче, потому что я уже знала про Буха Нойона, и мое чтение не прошло впустую. Это были те самые нити, которые связали воедино все части одной картины, все мои книжные этнографические знания про бурят с этими реальными живыми людьми, колхозниками, сидящими напротив меня.

Г.К. [Вопрос к Н.Ж.] *Как Вы считаете, насколько реально в современных условиях, чтобы зарубежный антрополог мог осуществлять проекты, подобные Вашим, работая в российском этнографическом поле? Что для этого ему необходимо, помимо желания работать, хорошего знания языка и достаточного финансового обеспечения?*

Н.Ж. По-моему, этих условий достаточно. Важно еще, чтобы он не строил из себя представителя более «высокой» культуры,

явившегося изучать менее развитое в культурном отношении население. Как правило, последнее легко улавливает подобные интонации и вряд ли будет особенно благоволить к такому исследователю.

Г.К. [Вопрос к К.Х.] *Кэролайн, может ли, на Ваш взгляд, российский антрополог осуществить в этнографическом поле Британии проекты, подобные Вашим российским исследованиям?*

К.Х. Конечно, сейчас очень много возможностей для российских антропологов работать по всему миру за пределами России. К примеру, они могут приехать и заниматься антропологическими полевыми исследованиями в Британии. Помимо желания проводить подобные исследования, знания языка и финансовой поддержки исследователю нужна поддержка коллег из местного университета и местных властей.

Г.К*. Среди недостатков российской этнографии 1990-х гг. назывались, в частности, такие, как «явная феминизация и позднее становление исследователя». Согласны ли Вы с тем, что «половозрастная структура профессии влияет не только на эффективность научного труда, но и на выбор тем, постановку вопросов, исследовательский стиль и манеру оформления результатов»? Имеют ли какую-либо корреляцию, с одной стороны, пол и возраст исследователя, и с другой — «конформизм и бесстрастность; сентиментальная доверчивость и строгий скептицизм; глобальное теоретизирование и тщательная дискриптивность; и еще многие антитезы в исследовательском процессе»* [Тишков 1992: 16–17]*?*

С.А. Арутюнов и Н.Л. Жуковская в гостях у профессора Мэдисонского университета А.М. Хазанова. США, 1994 г.

Последний сезон работы Комплексной советско-монгольской историко-культурной экспедиции, но ее участники этого не подозревают. Они собрались отметить в Монголии недавно состоявшиеся две докторские и одну кандидатскую защиты. Слева направо: молодые доктора В.В. Волков и Н.Л. Жуковская и молодой кандидат наук В.Е. Войтов. Монголия, август 1990 г.

Н.Ж. В 1950-е гг. в этнографии и в 1990-е гг. в полуэтнографии-полуантропологии (от первой мы уходили, а во вторую еще не вошли) среди исследователей преобладали женщины. Сейчас мужчин и женщин почти поровну, особенно среди молодежи, но кое-кто попадает в нашу профессию случайно, потом они отсеиваются и этим портят статистическую картину, которая и так не очень четкая. Среди случайных представлены оба пола.

Профессия не всегда определяется полученным образованием, а в наши дни они вообще часто оторваны друг от друга. В антропологию идут не только выпускники соответствующих кафедр, отделений, но и культурологи, филологи, географы, страноведы (милая, давно забытая специальность), историки, журналисты, какие-то межкультурные коммуниканты (Бог весть, что это такое!) и др. Когда спрашиваешь поступающих в аспирантуру, кто они по образованию и что у них написано в дипломе, чего только не услышишь. Многие из них азы антропологии начинают осваивать с нуля, только поступив в аспирантуру. А через три-четыре года уже защищают диссертации — разные по качеству (очень хорошие, хорошие, средние, плохие — что греха таить, есть и такие). Но мало про кого

Кэролайн Хамфри в экспедиции. Монголия, 2005 г.

из них можно сказать, что он уже стал ученым, исследователем, антропологом. Просто он хорошо (или не очень) знает свою конкретную, часто довольно узкую тему, но вряд ли представляет себе масштаб антропологии как науки в целом. Проблема эта и мужская, и женская в равной степени. Так что сетовать следует не на позднее становление исследователя, а на то, что он слишком рано начинает себя считать таковым.

Все прочие перечисленные в вопросе качества тоже, с моей точки зрения, не привязаны к полу и возрасту. Женщины нашего времени лучше приспосабливаются к его жесткому отбору, то же происходит и в науке. Если надо, женщина проявит и конформизм, и бесстрастность, и скептицизм, а при случае в ней может взыграть сентиментальная доверчивость (а почему нет, ее еще не совсем вытравили из нас), столь характерная для тургеневских девушек второй половины XIX в. На глобальное теоретизирование в основном претендуют мужчины, но мало кому из них это на самом деле удается. Женщины более склонны к конкретным исследованиям и ведут их весьма скрупулезно, им лучше удаются контакты с тем возрастным слоем населения, который — увы! — очень быстро уходит в мир иной. И соответствующую теорию на своем материале они могут выстроить. Большинство из них Бог разумом не обделил. Но глобальное теоретизирование — нет уж, увольте. Это чисто мужская «болезнь», плохо поддающаяся излечению.

К.Х. Я не вижу в этом проблемы. Этот вопрос сформулирован непривычно для моего понимания.

Г.К. *Селективная природа человеческого знания беспокоит представителей разных наук. В антропологических (и шире —*

в гуманитарных) исследованиях проблема осложняется еще и тем, что ученый, познающий культуру иных сообществ и эпох, сам историчен. И от этого, как утверждает Адам Купер, антрополога не спасает даже метод включенного наблюдения. Есть ли у Вас рецепты преодоления селективного субъективизма в научном исследовании?

Н.Ж. Адам Купер никакой такой великой истины своим изречением не открыл. Антропологи, да и другие ученые — дети не только своего времени, но и той культурной и общественной среды, в которой они выросли и сформировались. Они могут быть очень квалифицированными специалистами в своих науках, но, поставив перед собой определенную цель, отбирать лишь те факты, которые соответствуют ее достижению. Если они намеренно игнорируют то, что не вписывается в их концепцию, это научное преступление, хотя законом обычно не карается. Если же они просто что-то не увидели и не поняли — жаль, конечно, но со временем это увидят и обнародуют другие исследователи. Иногда это может произойти через много лет. Что поделаешь — пока еще наука не научилась противостоять такому виду искусственного отбора. И лично я никаких рецептов предложить не могу.

К.Х. Антрополог, безусловно, является человеком своего времени, и ему свойственны привычки и интересы того времени, в котором он живет. Самое лучшее, что может быть сделано в этой связи, это выяснить, почему именно та или иная проблема вдруг оказывается интересной из-за своего интеллекту-

Кэролайн Хамфри (вторая справа) со своими коллегами

ального содержания, и стараться приводить убедительные доказательства для аргументации.

Г.К. *Американская исследовательница Маргарет Пахсон в своей книге «Соловьево: история памяти в русской деревне»* [Paxson 2005] *пишет: «Сила антропологического метода — в терпении!» Согласны ли Вы с этим очень интересным и неординарным наблюдением*?

Н.Ж. Американской исследовательнице Маргарет Пахсон я могу предложить набор аналогичных изречений: «Сила археологического метода — в терпении», «Сила зоологического метода — в терпении», «Сила медицинского метода — в терпении». Любое исследование, любой творческий процесс требуют терпения. И, наверное, антропология и ее метод (и разве он у нее один?) вовсе не первые в этом ряду.

К.Х. Терпение, безусловно, важное качество и, возможно, самое главное. Но есть и другие составляющие — искренний интерес и симпатия.

Г.К. *Посоветуйте, пожалуйста, молодым антропологам (как российским, так и зарубежным), как им подготовиться к успешной полевой и научной работе в России.*

Н.Ж. Учиться! Учиться! И еще раз учиться! В свое время это, кажется, сказал В.И. Ленин, хотя и совсем по другому поводу. Но в данном случае этот совет вполне уместен. Учиться всему — теории, практике, методике полевой работы, поработать в экспедициях с опытными антропологами.

К.Х. Мне трудно давать какие-то общие советы. Начинающие антропологи очень разные, и им приходится сталкиваться с разнообразнейшими ситуациями. Каждый должен, наверное, быть готов к своей участи.

Г.К. *Какую роль в становлении Вас как антрополога сыграла Ваша семья?*

Н.Ж. Когда я начинала свой путь в науке, моя семья состояла из бабушки, дедушки, мамы, отчима и сестры. Для них я была просто историк, т.к. окончила исторический факультет МГУ. Слово «этнограф» им было не очень понятно, а «антрополог» тогда было не в ходу и вообще означало не то, что сейчас. Бабушка мечтала, чтобы я стала музейным работником — с ее точки зрения это была вершина, которой может достичь историк по образованию. Она очень расстроилась, когда я стала сотрудником Института этнографии и начала ездить в какие-то таинственные экспедиции, в которых, с ее точки зрения, меня подстерегали жуткие, возможно, даже смертельные опасности.

Н.Л. Жуковская со своими калмыцкими и монгольскими учениками. Слева направо: И. Лхагвасурэн, Т. Шараева, Н.Л. Жуковская, М. Марзаева. Элиста, 2011 г.

Кое-что в экспедициях действительно случалось, но бабушке, ради ее спокойствия, я об этом не докладывала.

Все изменилось в 1971 г.: я вышла замуж за своего коллегу, работавшего в том же Институте этнографии и даже в том же отделе зарубежной Азии, Австралии и Океании, где и я, — Сергея Александровича Арутюнова. Уже тогда он был достаточно известен в отечественной и зарубежной антропологии как своими теоретическими работами, так и результатами своих полевых исследований в разных регионах мира: в Японии, Индии, Вьетнаме, на Чукотке (где он на протяжении многих лет участвовал в раскопках древнеэскимосских могильников начала нашей эры), на русском Севере и в Западной Сибири (там он изучал социальную структуру ненцев и их соседей). С этого времени этнография / антропология стала не только частью нашей совместной работы в институте, но и составляющей нашей семейной жизни. Совместных выездов в экспедиции у нас не было, но каждый из нас проводил в поле много времени: я с 1969 по 1990 г. ежегодно выезжала в Монголию, а начиная с 1991 г. — тоже ежегодно в Бурятию, он — то в Индию, то на Чукотку, то в Западную Сибирь (Тюменскую область, Ямало-Ненецкий округ). Иногда случалось такое: он возвращался домой после двух-трехмесячной экспедиции, а через пару дней я уезжала примерно на столько же. Кто-то считает, что такие браки быстро распадаются, но наш это испытание выдержал.

Естественно, мы были в курсе научных интересов друг друга. Начатые на работе разговоры и обсуждения часто продолжа-

С.А. Арутюнов и Н.Л. Жуковская у себя дома. Москва, 1998 г.

лись дома. Приходившие к нам гости — в большинстве наши коллеги, московские и из других регионов, — часто становились участниками домашних дискуссий.

Наша научная карьера не стояла на месте. В 1990 г. муж стал членом-корреспондентом РАН, в том же году я защитила докторскую диссертацию. В 1985 г. он возглавил отдел Кавказа в нашем институте, в 1996 г. я стала заведующей отделом азиатских и тихоокеанских исследований. Мы воспитали десятки учеников, среди которых уже немало докторов наук. Я продолжаю ездить в экспедиции в Бурятию, он сменил их на непродолжительные командировки — годы берут свое, ему уже исполнилось 80 лет. Часто мы выезжаем в совместные поездки. Нормальная антропологическая семья.

К.Х. Я никогда не брала своих родных и членов своей семьи с собой в поле. Но я глубоко им признательна, особенно своему мужу, за постоянную поддержку в моей работе и понимание необходимости моих частых поездок.

Г.К. *Благодарю вас, уважаемые коллеги, за участие в интервью!*

Библиография

Басилов В.Н. Этнография: есть ли у нее будущее? // Этнографическое обозрение. 1992. № 4. С. 3–17.

Комарова Г.А. Женский портрет в научном интерьере // Антропологический форум. 2007а. № 7. С. 312–326.

Комарова Г.А. Уважение к респондентам — важнейшая заповедь исследователя // Этнографическое обозрение. 2007б. № 2. С. 119–131.

Комарова Г.А. Антрополог — это очевидец // Антропологический форум. 2011а. № 14 Online. С. 235–268.

Комарова Г.А. О самой лучшей «награде» антропологической работы // Антропологический форум. 2011б. № 15 Online. С. 448–474.

Тишков В.А. Советская этнография: преодоление кризиса // Этнографическое обозрение. 1992. № 1. С. 5–20.

Paxson M. The Story of Memory in a Russian Village. Bloomington: Indiana University Press, 2005.